



Юмористические рассказы

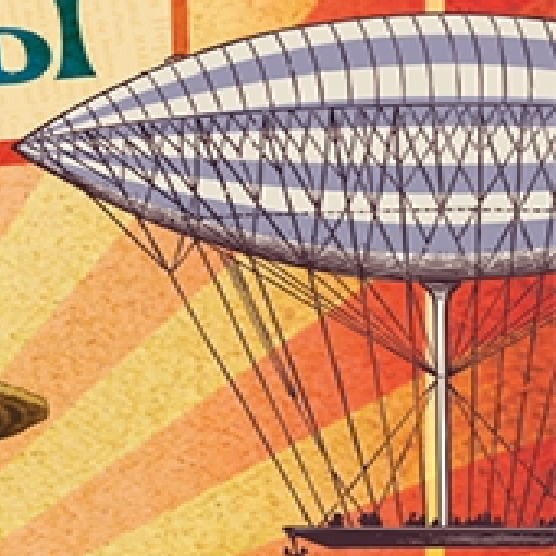
Где рассказы Аверченко — там улыбки, хохот, веселье... Похождения любвеобильного Кораблева, встречающегося с таким количеством пассий, что вынужден вести запись их привычек в особом блокноте; ловелас Петухов, ежедневно закатывающий сцены ревности своей жене; назойливый агент Цацкин, который пытается продать всем и каждому бесполезные товары, за что и получает пинки, — в рассказах Аверченко все потрясающе жизненно, а их герои как будто списаны с наших знакомых. Казалось бы, столетие прошло — а ничего не изменилось: Цацкины все так же продают, ловеласы ищут доверчивых барышень и по-прежнему путаются в заметках неугомонные Кораблевы. А мы все так же смеемся.

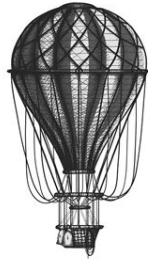


Аркадий
Дверченко



Юмористические
рассказы







Аркадий
Дверченко

Юмористические
рассказы



Сборник



ХАРЬКОВ 2021 КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА



Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2021

ISBN 978-617-12-8723-5 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:



Дизайнер обложки Виталий Котенджи

Де оповідання Аверченка — там усмішки, регіт, веселощі... Походеньки велелюбного Корабльова, який зустрічається з такою кількістю пасій, що змушений вести нотатки про їхні звички в особливому блокноті; ловелас Петухов, який щодня влаштовує сцени ревнощів своїй дружині; набридливий агент Цацкін, який намагається продати всім і кожному даремні товари, за що і отримує стусани, — в оповіданнях Аверченка все вражає життєво, а їхні герої немов списані з наших знайомих. Здавалося б, століття минуло — а нічого не змінилося: Цацкіни так само продають, ловеласи шукають довірливих панянок і, як і раніше, плутаються в нотатках невгамовні Корабльови. А ми так само сміємося.

Аверченко А.

А19 Юмористические рассказы : сборник / Аркадий Аверченко. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2021. — 448 с.

ISBN 978-617-12-8627-6

Где рассказы Аверченко — там улыбки, хохот, веселье... Похождения любвеобильного Кораблева, встречающегося с таким количеством пассий, что вынужден вести запись их привычек в особом блокноте; ловелас Петухов, ежедневно закатывающий сцены ревности своей жене; назойливый агент Цацкин, который пытается продать всем и каждому бесполезные товары, за что и получает пинки, — в рассказах Аверченко все потрясающе жизненно, а их герои как будто списаны с наших знакомых. Казалось бы, столетие прошло — а ничего не изменилось: Цацкины все так же продают, ловеласы ищут доверчивых барышень и по-прежнему путаются в заметках неугомонные Кораблевы. А мы все так же смеемся.

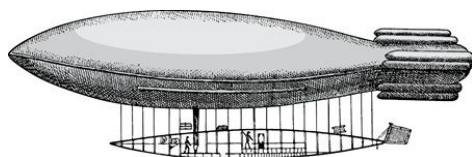
УДК 821.161.1

© DepositPhotos.com / MalyDesigner, studio_accanto, sharpner, обложка, 2021

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2021

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2021

Веселые устрицы



Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

— Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! — подумал я, внутренне усмехнувшись. — Ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым делом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе — и мы вышли на улицу.

— Куда это нас черти несут? — спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

— Тебе надо учиться.

— Очень нужно! Не хочу учиться.

— Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

— Я болен.

— Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

— Глаза.

— Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

— Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

— Ничего, — ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: «...хорошего в ученье».

Так я и не занимался науками.

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость — добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и — пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили в рукопашную, и результат схватки — вывихнутый палец — несколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так — на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей — совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, отец, с сожалением распроставшийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

— Надо тебе служить.

— Да я не умею, — возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

— Вздор! — возразил отец. — Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

— Посмотри на Сережу, — говорила печально мать. — Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет... А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!

— Сережа служит, а ты еще не служишь... — упрекнул меня отец.

— Сережа, может быть, дома лягушек ест, — возразил я, подумав. — Так и мне прикажете?

— Прикажу, если понадобится! — гаркнул отец, стуча кулаком по столу. — Чер-рт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

* * *

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», — подумал я.

— Здравствуйте! — сказал я, крепко пожимая ему руку. — Как делишки?

— Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

— Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь

пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

— Здравствуйте, — сказал я. — Как живете-можете?
(Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

— Ничего, — сказал молодой господин. — Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

— Так-то вы, дьявольский дармоед, заготавливаете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал приватно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, — думал я про себя. — Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники? Вот этот начальник — так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

— Посмотрите, кто там? — попросил меня главный агент.

Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

— Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

— Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на ухо:

— Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей, — ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцать лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать — это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрыгах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник на свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время — ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой неперменной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе — целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой — ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые двадцать шагов.

— Что это такое? — изумился я...

— А шахтеры, — улыбнулся сочувственно возница. — Горилку куповалы у селе. Для божьего праздничку.

— Ну?

— Та й не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу,

с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчик на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения — бутылка водки) съесть динамитный патрон. Прюделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина — был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались пружестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое, тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

* * *

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные

мною в летних шантанах — месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывая работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дразгах.

Литературная моя деятельность была начата в 1904 году и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу... Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня! Тогда он, обидевшись, сказал:

— Один из нас должен уехать из Харькова!

— Ваше превосходительство! — возразил я. — Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить три номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

В Петроград я приехал как раз на Новый год. Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я — могу дать честное слово, — увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город... Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни. И вот — начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на полгода 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской делегации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...

Американцы

Издатель журнала «Северное сияние», Роздеришин, и секретарь, Бильбокеев, составляли объявление о подписке на будущий год.

— С чего начинать-то? — спросил, беря в руку перо, Бильбокеев.

— Ну... как обыкновенно начинается...

— Обыкновенно начинают так, — сказал опытный Бильбокеев. — «Не прибегая к широковещательным рекламам»...

— Это хорошо. Солидно. Только... постойте, дорогой... Что это мы хотим сейчас составить?

— Широковещательную рекламу.

— Ну, вот. А пишем — «не прибегая»... Неудобно.

Бильбокеев подумал.

— Существует еще одно хорошее вступление для такого рода объявлений: «Не щадя затрат, наш журнал»...

— Прекрасно! — восхищенно воскликнул Роздеришин. —

Именно — «не щадя затрат»... Так и начните.

Бильбокеев написал «не щадя затрат» и выжидательно посмотрел на издателя.

— Ну-с?

— Что? — спросил издатель.

— Вот я написал — «не щадя затрат», — а что же дальше?

— Да это и хорошо. Чего же еще?

— Видите ли... я написал придаточное предложение. Как вам, вероятно, известно — придаточное предложение само по себе, без главного — существовать не может... Где же главное предложение?

— Чивой-то я не понимаю, — сказал Роздеришин, растерянно смотря на секретаря.

— Ах ты Господи! Вот мы написали: «не щадя затрат»... Ну, а что же дальше?! Нужно так писать: «не щадя затрат, — мы сделаем то-то и то-то». Ну, вот вы и скажите, на что мы обещаем не щадить затрат? Что это такое — то-то и то-то?

Издатель вздохнул.

— Вот оно что! Дальше можно бы написать, что, мол, «идя навстречу интересам многоуважаемых господ подписчиков»...

Секретарь приписал несколько слов и прочел вслух:

— «Не щадя затрат и идя навстречу интересам многоуважаемых господ подписчиков»...

Он остановился.

— Ну-с? А где же главное предложение?

— Неужели главного еще нет? — удивился Роздеришин.

— Конечно! Вот мы не щадим затрат, идем навстречу. А на что не щадим, куда идем?

— Гм... — задумался издатель и даже вытянул губы трубочкой. — Действительно. «Идя навстречу интересам многоуважаемых господ подписчиков»... А ведь они, черти полосатые, разве понимают — какво издателю? Гм... Что бы им такое дальше ввернуть? Разве насчет окраин?..

— Каких окраин?

— Что, мол, журнал будет уделять большое внимание насущным интересам окраин... Некоторые объявляют так.

— Никанор Палыч! Да ведь это газета может уделять! Какие у нас могут быть интересы окраин? На первой странице какая-нибудь «Девочка с яблоком», потом роман «Разными дорогами», опять — «Девочка с кошкой», она же поздравляющая с днем рождения бабушку, «Флорентийская цветочница», смесь, и в конце та же проклятая девчонка с собакой, под названием «Два друга». И так — каждый номер. Где же тут окраины? Нужно одно из двух — или насчет самого журнала размазать побольше — или насчет премий!

— Что ж насчет журнала... Даем мы как обыкновенно: 52 номера роскошно иллюстрированного журнала, с произведениями лучших мастеров слова на веленовой бумаге...

— Это мы и в прошлом году писали и в позапрошлом... Нужно что-нибудь насчет реформ. Вроде что: 1910 год будет годом наших реформ!

— Да какие же реформы?.. Рассыльного Мотыку я давно собираюсь турнуть, взять на его место потолковее...

— Ну что вы такое говорите, Никанор Палыч! В других журналах как у людей... Вон «Зарницы» как написали: мы, говорят, не щадя затрат, будем печатать некоторые рисунки по способу «дрей фарбен друк!»¹.

Роздеришин с суеверным ужасом посмотрел на секретаря.

— Господи! Что же это?..

— Трехцветная печать! А у нас все одним цветом жарим... Эйн фарбен друк!²

— Голубчик! — сказал издатель. — А вы так и напишите... Что, мол, мы с будущего года будем рисунки печатать эйн фарбен друком.

Бильбокеев рассмеялся.

— Не щадя затрат?

— Не щадя. Можно тут же написать: «идя навстречу». А?

— Нет, Никанор Палыч — не отвертитесь!.. Придется вам на премии налечь. Что вы предполагали дать?

— У меня тут отмечено: «Альбом красавиц на меловой бумаге — приятное развлечение домашнего очага, полное собрание сочинений знаменитого писателя сороковых годов и книжка портретов членов Государственной Думы»...

Бильбокеев задумчиво качнул головой.

— Недурно. Красавиц штук десять можно дать. Надо в клише порыться. Члены Думы только дорого обойдутся... Фотографии покупать, клише делать...

— Поехали! Может, еще и в три краски печатать? Пороемся в старых клише и довольно.

— Да у нас никаких клише членов Думы и нет!..

— И не надо. Мало ли у нас есть клише, вообще. «Свен Гедин, путешественник по Тибету», «знаменитый ученый Пастер», «английский министр колоний», «убийца президента Карно» — всех можно пустить в дело. Только по бородам подобрать.

— Как... по бородам?

— Да так. У кого из членов Думы борода — ставить клише с бородой, у кого усы — с усами. А что не похожи будут — пустяки. Подумают — нечаянно перепутали. Съедят.

— Разве что так! — сказал Бильбокеев. — А что это за знаменитый писатель сороковых годов, с полным собранием сочинений? У вас там фамилия не указана.

— Да и сам не знаю. Купил на складе по случаю — тысяч двадцать томов какой-то чепуховины, а чьи — так и не посмотрел. Вы уж его там распишете сами.

— Пойдите! Мы так и продолжим... Значит: «Не щадя затрат и идя навстречу интересам публики, редакция решила дать ряд премий, стоящих в отдельной продаже 27 рублей 55 копеек.

1) “Альбом красавиц”. Это изящное издание явится лучшим украшением домашнего очага и своими грациозными формами будет веселить глаз всех любителей женской красоты — лучшего, чем украсила вселенную мать-природа. Перед подписчиком пройдет ряд лучших красавиц, стоящих в отдельной продаже 8 рублей.

2) Полное собрание сочинений знаменитого мастера слова сороковых годов (не забудьте потом фамилию вставить), произведения которого до сих пор перечитываются и заучиваются наизусть. Имя это стоит в плеяде наравне с такими мастерами слова, как Пушкин, Белинский и незабвенный русский сатирик Н. В. Гоголь, сквозь слезы смеявшийся над дореформенной Русью и клеймивший своим талантливым пером взяточничество и отечественную косность.

3) Все подписчики, внесшие деньги до первого января, получат роскошное издание “Наши депутаты”. Перед читателем пройдет здесь ряд “лучших людей страны”, призванных залечить раны и вылечить нашу матушку Россию. Всякий может запечатлеть в сердце дорогие черты, внося деньги до первого января (на год 6 руб., полгода 3 руб. 50 коп.)»

Бильбокеев перевел дух.

— Хорошо?

— Здорово. О Гоголе метко сказано. Именно что — не щадя затрат! Спасибо.

Роздеришин пожал Бильбокееву руку, а тот ухмыльнулся и сказал:

— Все-таки я думаю сверху написать: «Не прибегая к широковещательным рекламам»... А?

Подмости

Я сидел в четвертом ряду кресел и вслушивался в слова, которые произносил на сцене человек с небольшой русой бородой и мягким взглядом добрых, ласковых глаз.

— Зачем такая ненависть? Зачем возмущение? Они тоже, может быть, хорошие люди, но слепые, сами не понимающие, что они делают... Понять их надо, а не ненавидеть!

Другой артист, загримированный суровым, обличающим человеком, нахмурил брови и непреклонно сказал:

— Да, но как тяжело видеть всюду раболепство, тупость и косность! У благородного человека сердце разрывается от этого.

Героиня, полулежа на кушетке, грустно возражала:

— Господа, воздух так чист, и птички так звонко поют... В небе сияет солнце, и тихий ветерок порхает с цветочка на цветочек... Зачем спорить?

Обличающий человек закрыл лицо руками и, сквозь рыдания, простонал:

— Божжже мой! Божжжже мой!.. Как тяжело жить!

Человек, загримированный всепрощающим, тихо положил руки на плечо тому, который говорил «Божже мой!».

— Ирина, — прошептал он, обращаясь к героине, — у этого человека большая душа!

На моих глазах выступили слезы.

Я, вообще, очень чувствителен и не могу видеть равнодушно, даже если на моих глазах режут человека. Я смахнул слезу и почувствовал, что эти люди своей талантливой игрой делают меня хорошим, чистым человеком. Мне страстно захотелось пойти в антракте в уборную к тому актеру, который всех прощал, и к тому, который страдал, и к грустной героине — и поблагодарить их за те чувства, которые они разбудили в моей душе.

И я пошел к ним в первом же антракте.

Вот каким образом познакомился я с интересным миром деятелей подмосток...

— Можно пройти в уборную Эрастова?

— А вы не сапожник?

— Лично я не могу об этом судить,— нерешительно ответил я. — Хотя некоторые критики находили недостатки в моих рассказах, но не до такой степени, чтобы...

— Пожалуйста!

Я шагнул в дверь и очутился перед человеком, загримированным всепрощающим.

— Ваш поклонник! — отрекомендовался я. — Пришел познакомиться лично.

Он был растроган.

— Очень рад... садитесь!

— Спасибо, — сказал я, оглядывая уборную. — Как интересна жизнь артиста, не правда ли?.. Все вы такие душевные, ласковые, талантливые...

Эрастов снисходительно усмехнулся.

— Ну, уж и талантливые... Далеко не все талантливы!

— Не скромничайте, — возразил я, садясь.

— Конечно... Разве этот старый башмак имеет хоть какую-нибудь искру? Ни малейшей!

— Какой старый башмак? — вздрогнул я.

— Фиалкин-Грохотов! Тот, который так подло играл роль героя.

— Вы находите, что он не справился с ролью? Зачем же тогда режиссер поручил ему эту роль?

Эрастов всплеснул руками.

— Дитя! Вы ничего не знаете? Да ведь режиссер живет с его женой! А сам он пользуется щедротами купчихи Поливаловой, которая — родственница буфетчика Илькина, имеющего на антрепренера векселей на сорок тысяч.

Я был ошеломлен.

— Какой негодяй! И с таким человеком должны играть вы и эта милая, симпатичная Лучезарская!..

— Героиня? Да ей-то что... Она сама живет с суфлером только потому, что тот приходится двоюродным братом рецензенту Кулдыбину. У нее, впрочем, есть муж и дочь лет двенадцати. Но она своими побоями скоро вгонит девчонку в гроб — я в этом уверен. Впрочем, она не прочь продать девчонку комику Зубчаткину только потому, что у того есть некоторые связи в N-ском театре, куда она мечтает пробраться...

— Неужели она такая?

— Да, знаете... Готова с каждым первым попавшимся. Покажите ей десять рублей — побежит. Ей комическая старуха Мяткина-Строева давно уже руки не подает!

— Смотрите-ка! Комическая старуха, а какая благородная брезгливость, — изумился я.

— Она не потому. Просто у Мяткиной-Строевой был любовник на выходах — Клеопатров, которого она содержала, а Лучезарская насплетничала, что он в бутафорской шлем украл — его и уволили среди сезона. Вы меня извините, сейчас мой выход минут на пять, если хотите — подождите... я вернусь, еще поболтаем. Ужасно, знаете, мне с моими взглядами жить среди этой грязи и сплетен. Я сейчас!

Он ушел. Я остался один.

Дверь скрипнула, и в уборную вошел Фиалкин-Грохотов, весело что-то насвистывая.

— Васьки нет? — спросил он благодушно.

— Нет, — ответил я, вежливо раскланиваясь. — Очень рад с вами познакомиться — вы прекрасно играли!

Лицо его сделалось грустным.

— Я мог бы прекрасно играть, но не здесь. Я мог бы играть, но с этим... Эрастовым! Знаете ли вы, что этот человек в диалоге невозможен? Он перехватывает реплики, не дает досказывать, комкает ваши слова и своими дурацкими гримасами отвлекает внимание публики от говорящего.

— Неужели он такой? — удивился я.

— Он? Это бы еще ничего, если бы он в частной жизни был порядочным человеком. Но ведь его вечные истории с несовершеннолетними гимназистками, эта подозрительно счастливая игра в карты и бесцеремонность в займах — вот что тяжело и ужасно. Кстати, он у вас еще займы не просил?

— Нет. А что?

— Попросит. Больше десяти рублей не одолжайте — все равно не отдаст. Я вам скажу: он да Лучезарская...

В двери послышался стук.

— Можно? — спросила Лучезарская, входя в уборную. — Ах, извините! Очень рада познакомиться!

— Ну, что, голуба? — приветливо сказал Фиалкин-Грохотов, смотря на нее. — Что он там?..

— Ужас что такое! — страдальчески ответила Лучезарская, поднимая руки кверху.— Это такой кошмар... Все время путает слова, переигрывает, то шепчет, как простуженный, то орет. Я с ним совершенно измоталась!

— Бедная вы моя, — ласково и грустно посмотрел на нее Фиалкин-Грохотов. — Каково вам-то.

— Мне-то ничего... У меня сегодня с ним почти нет игры, а вот вы... Я думаю, — вам с вашей школой, с игрой, сердцем и нервами, после большой столичной сцены... тяжело? О, как мне все это понятно! Вам сейчас выходить, милый... Идите!

Он вышел, а Лучезарская нахмурила брови и, наклонившись ко мне, озабоченно прошептала:

— Что вам говорил сейчас этот кретин?

— Он? Так, кое-что... Светский разговор.

— Это страшный сплетник и лгун... Мы его все боимся как огня. Он способен, например, выйти сейчас и рассказать, что застал вас обшаривающим карманы висящего пиджака Эрастова.

— Неужели? — испугался я.

— Алкоголик и морфинист. Мы очень будем рады, если его засадят в тюрьму.

— Неужели? За что?

— Шантажировал какую-то богатую барыню. Теперь все раскрылось. Я очень буду рада, потому что играть с ним — чистое мучение! Когда он да эта горилла — Эрастов на сцене, то ни в чем не можешь быть уверенным. Все провалят!

— Почему же режиссер дает им такие ответственные роли?

— Очень просто! Эрастов живет с женой режиссера, а тому только этого и надо, потому что ему не мешают тогда наслаждаться счастьем с этой распутницей Каширской-Мелиной, которая жила в прошлом году с Зубчаткиным.

Она грустно улыбнулась и вздохнула:

— Вас, вероятно, ужасает наше театральное болото? Меня оно ужасает еще больше, но... что делать! Я слишком люблю сцену!..

В уборную влетел Эрастов и, скрежеща зубами, сказал:

— Душечка, Марья Павловна, посмотрите, что сделала эта скотина с началом второго действия! Что он там натворил!!!

— Я это и раньше говорила, — пожала плечами Лучезарская. — Эта роль — главная в пьесе и поэтому по справедливости должна была принадлежать вам! Впрочем... Вы ведь знаете режиссера!

* * *

Следующий акт я опять смотрел.

Лучезарская стояла около окна, вся залитая лунным светом, и говорила, положив голову на плечо Фиалкина-Грохотова:

— Я не могу понять того чувства, которое овладевает мною в вашем присутствии: сердце ширится, растет... Что это такое, Кайсаров?

— Милая... чудная! Я хотел бы, чтобы судорога счастья быть любимым вами сразу захватила мое сердце, и я упал бы к вашим ногам бездыханным с последним словом на устах: люблю!

Около меня кто-то вынул платок, задев меня локтем, и, растроганный, вытер глаза.

— Чего вы толкаетесь, — грубо проворчал я. — Болтают тут руками — сами не знают чего!..

Неизлечимые

Спрос на порнографическую литературу упал.
Публика начинает интересоваться
сочинениями по истории и естествознанию.
(Книжн. известия)

Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залезалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.

— В чем дело?

— Вещь!

— Которая?

— Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса — так и быть, отдам!

Издатель нахмурил брови.

— Повесть?

— Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу две-три выдержки.

Писатель развернул рукопись.

— «...Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте...»

— Еще что? — сухо спросил издатель.

— Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел... На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все заверте...»

— Еще что? — спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.

— А... еще... вот... Ззззб... бавно! «Линеви́ч и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах... Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линеви́ч угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра.

Не помня себя, Линеви́ч взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте...»

— Не надо, — сказал издатель.

— Что не надо? — вздрогнул писатель Кукушкин.

— Не надо. Идите, идите с Богом.

— В-вам... не нравится? У... у меня другие места есть... Внучек увидел бабушку в купальне... А она еще была молодая...

— Ладно, ладно. Знаем! Не помня себя, он бросился к ней, схватил ее в объятия, и все заверте...

— Откуда вы узнали? — ахнул, удивившись, писатель Кукушкин. — Действительно, так и есть у меня.

— Штука нехитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся:

— А где тут у вас корзина?

— Вот она, — указал издатель.

Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:

— О чем нужно?

— Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных...

— А аванс дадите?

— Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под «все завертелось» не дам!!!

— Давайте под муху, — вздохнул писатель Кукушкин.

Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие:

1. Боярская проруха

Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь Курбский.

Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.

— Ой ты гой еси! — воскликнул он на старинном языке того времени.

— Ой ты гой еси, исполать тебе, добрый молодец! — воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и — все заверте...

II. Мухи и их привычки. Очерки из жизни насекомых

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна.

Звали ее по-мушиному — Лидия.

Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим... Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте...

Без почвы

Многие находят, что катанье на колесных коньках — очень трудная вещь... Конечно, в наш слабый развинченный век, когда многие не умеют даже как следует кататься на простом извозчике — этот спорт представляет некоторые трудности, но, конечно, не такого сорта, чтобы, отправляясь впервые на скетинг-ринг, попрощаться с родственниками, написать завещание и затвердить наизусть последние предсмертные слова.

Я стоял у буфетного столика, опираясь на мягкие перила вокруг асфальтовой площадки, на которой носились с треском и веселым гамом оживленные парочки, — стоял и думал:

— Только-то и всего? Да ведь сущий пустяк — покатиться на этих колесиках! Мне кажется, я открыл главный секрет этого спорта: стоит только стараться не упасть — и дело наполовину сделано. А если вы не рухнули на пол сразу, то последующие шаги не представляют никаких затруднений... Чтобы сдвинуться с места, необходимо попросить кого-либо из находящихся вблизи толкнуть вас легонько в спину. А коньки уже — такая подвижная штука, что мигом домчат вас до противоположной стороны площадки. Попробуем.

Я подошел к служителю, сел на диван, протянул ноги и сказал тоном лихого, безрассудно смелого спортсмена:

— Парочку коньков! Да получше!! Чтобы они обязательно были на колесиках!

— Да они и так все на колесиках, — возразил служитель, завинчивая какие-то винты на моей ноге.

— Да? — смутился я. — Это прекрасный обычай.

— Готово, господин!

Я опустил на пол оседланные ноги и потихоньку подвигал ими... Увы, твердой земли я не ощутил: мои ноги как будто болтались в воздухе.

— Это... всегда так? — робко спросил я.

— Что всегда?

— Так... скользко.

— А как же: колесики! Пожалуйста на площадку.

Я поднялся с дивана, но нога моя стремительно юркнула куда-то в сторону, и я снова опустился на свое место. Мне часто до того приходилось сиживать на диванах, но никогда я не получал такого искреннего удовлетворения от этого, как теперь.

Никогда бы раньше я не мог поверить, что можно так привязаться и полюбить простую дешевую, набитую шерстью подушку. Ни за какие деньги не хотел бы я расстаться с ней...

— Что же вы? Пожалуйте.

— Хи-хи, — засмеялся я. — Хи-хи... Я, голубчик, еще немножко посижу здесь. Устанешь, знаешь ли, за день... Тут у вас очень мило: тепло, уютно.

Он отошел от меня, а я остался сидеть, томительно вздыхая и изредка осторожно постукивая скользкой ногой по полу. Рядом со мной надевали коньки господину, который был в таком же положении, как я. Но в этом человеке был дух героя! При Иоанне Грозном он, вместо Ермака, мог бы завоевать Сибирь; при встрече с тигром он ударил бы его кулаком в темя и, ошеломив этим изумленного зверя, притащил бы его на веревке домой... В этом человеке помещался дух героя! Он не сидел полчаса на диване, не мямлил, как я, а сразу встал, выпрямился смело во весь рост и — грохнулся на буфетный стол всей своей тяжестью.

Если заразительны дурные примеры, то заразительны и хорошие: я встал и, прижимаясь к служителю со всей порывистостью и лаской, на которую способна моя привязчивая натура, направился к барьеру.

И вот — я остался один, судорожно уцепившись за барьер и делая вид, что меня страшно заинтересовало устройство потолка.

— Отчего же вы не катаетесь? — дружески спросил меня кто-то из сидевших за столиками.

— Да я... катаюсь.

— Вы бросьте барьер! Не держитесь за него — тогда легче.

Я послушался совета. Но мои ноги (никогда не подозревал в своих собственных конечностях столько хитрости и ехидства) заметили этот маневр и сразу же разбежались в обе стороны так далеко, что мне стоило большого труда снова собрать их воедино. При этом я сделал движение, напоминающее самую популярную фигуру в кэж-воке, и снова с судорожною поспешностью уцепился за барьер.

— Смелее, смелее! — кричал мне доброжелатель. — Не льните так к барьеру, как к любимой женщине. Свободнее руки, отъезжайте от барьера.

— Очевидно, он знает, что нужно делать, — подумал я и отъехал от барьера.

И тут я оказался будто висящим в воздухе. Коньки сами ерзали по асфальту, как живые, я откидывался назад, изгибался, как угорь, и, наконец, видя, что позорное падение неизбежно — с молниеносной поспешностью схватил за обе руки какого-то подвернувшегося конькобежца.

— Что такое? — изумился он. — В чем дело?

Стискивая его руки, я тряс их, изгибался и, чтобы загладить свой бестактный поступок, сказал трясущимися губами:

— А, здравствуйте!.. Как поживаете? Вы... меня не узнаете?

— Первый раз вижу. Пустите мои руки!

Он вырвался. Ноги мои не упустили удобного случая сделать гадость их хозяину, разъехали в стороны, и я тяжело опустился боком на асфальт.

— Упали? — участливо спросил мой доброжелатель.

Я сделал вид, что поправляю коньки.

— Нет, это я так сел. Затянул ремни. Они, знаете, от катания ослабевают.

Повозившись с каким-то ремнем, я тихонько подполз к барьеру и — снова нашел в нем старого, верного, испытанного друга.

— Если вы замечаете, что падаете, — сказал человек, сидевший за столом (теперь я подозреваю, что он был — случайный зритель, впервые зашедший полюбоваться на новый спорт), — если вы замечаете, что падаете, — то немедленно поднимайте одну ногу... Равновесие установится, таким образом, сразу.

Снова я с тяжелым сердцем расстался с барьером... Исполнить совет моего доброжелателя было тем легче, что я поскользнулся сразу. И совет был исполнен даже в двойной дозе. Он советовал при падении поднять одну ногу, а я поднял обе. Правда, это было после падения, и для этого пришлось коснуться спиной асфальта, но я увидел, что в падении, в сущности, нет ничего страшного.

Мимо пролетел изящный господин, грациозно наклонившись вперед и легко, без усилий скользя по асфальтовой глади.

— Попробую и я так, — подумал я. — Ну, упаду! Эка важность!

Положив руки назад, я неожиданным ураганом ринулся в толпу катающихся. Я упал всего два раза, но сбил с ног человек десять, опрокинул неизвестного толстяка на барьер и, сопровождаемый разными пожеланиями и комплиментами, усталый, довольный собой отправился снимать коньки.

* * *

На второй день я опрокинул всего двух человек и к барьеру прикасался лишь изредка, большей частью покровительственно похлопывая его по упругой спине... На третий день я не опрокинул уже ни одного человека (опрокинули меня — какой-то неуклюжий медведь, — чтобы его черт побрал, — и неизвестная девица, бездарная до обморока), на барьер смотрел с презрением, как на нечто смешное, ненужное, и демонстративно держался подальше от этого пережитка старинной неуклюжести и страха... Пролетая мимо напуганных, искаженных ужасом лиц, кричал им покровительственное: «смелее!», и теперь — если бы мне предложили приз за катанье, — я взял бы его без всякого колебания, отнекиваний и ненужной скромности.

Четверг

В восемь часов вечера Ляписов заехал к Андромахскому и спросил его:

— Едете к Пылинкиным?

— А что? — спросил, покривившись, Андромахский. — Разве сегодня четверг?

— Конечно, четверг. Сколько четвергов вы у них бывали и все еще не можете запомнить.

Андромахский саркастически улыбнулся:

— Зато я твердо знаю, что мы будем там делать. Когда мы войдем, m-me Пылинкина сделает радостно-изумленное лицо: «Господи! Андрей Павлович! Павел Иванович! Как это мило с вашей стороны!» Что мило? Что мило, черт ее возьми, эту тощую бабу, меняющую любовников, — не скажу даже как перчатки, потому что перчатки она меняет гораздо реже! Что мило? То ли мило, что мы являемся всего один раз в неделю, или то, что, войдя, не разгоняем сразу пинками всех ее глупых гостей? «Садитесь, пожалуйста. Чашечку чаю?» Ох, эта мне чашечка чаю! И потом начинается: «Были на лекции о Ведекинде?» А эти проклятые лекции, нужно вам сказать, читаются чуть ли не каждый день! Нет, скажешь, не был. «Не были? Как же это вы так?» Ну, что, если после этого взять, стать перед ней на колени, заплакать и сказать: «Простите меня, что я не был на лекции о Ведекинде. Я всю жизнь посвящу на то, чтобы замолить этот грех. Детям своим завещаю бывать от двух до трех раз на Ведекинде, кухарку вместо бани буду посылать на Ведекинда и на смертном одре завещаю все свое состояние лекторам, читающим о Ведекинде. Простите меня, умная барыня, и кланяйтесь от меня всем вашим любовникам!»

Ляписов засмеялся:

— Не скажете!

— Конечно, не скажу. В том-то и ужас, что не скажу. И еще в том ужас, что и она и все ее гости моментально и бесследно забывают о Ведекинде, о лекциях и с лихорадочным любопытством набрасываются на какую-то босоножку. «Видели танцы новой босоножки? Мне нравится». А другой осел скажет: «А мне не нравится». А третий отвечает: «Не скажите! Это танцы будущего, и они мне нравятся. Когда я был в Берлине, в кафешантане...» —

«Ах, — скажет игриво m-те Пылинкина, — вам, мужчинам, только бы все кафешантаны!» Конечно, нужно было бы сказать ей — кафешантаны. А тебе бы все любовники да любовники. «Семен Семеныч! Чашечку чаю с печеньицем, а? Пожалуйста! Читали статью о Вейнингере?» А чаишко-то у нее, признаться, скверный, да и печеньице тленом пахнет... И вы замечаете? Замечаете? Уже о босоножке забыто, танцы будущего провалились бесследно до будущего четверга, разговор о кафешантане держится две минуты, увядает, осыпается, и на его месте пышно расцветает беседа о новой пьесе, причем одному она нравится, другому не нравится, а третий выражает мнение, что она так себе. Да ведь он ее не видел?! Не видел, уверяю вас, шут этакий, мошенник, мелкий хам!! А ты должен сидеть, пить чашечку чаю и говорить, что босоножка тебе нравится, новая пьеса производит впечатление слабой, а кафешантаны скучны, потому что все номера однообразны.

Ляписов вынул часы:

— Однако уже скоро девять!

— Сейчас. Я в минутку оденусь. Да ведь там только к девяти и собираются... Одну минуточку.

В девять часов вечера Андромахский и Ляписов приехали к Пылинкиным.

M-те Пылинкина увидела их еще в дверях и с радостным изумлением воскликнула:

— Боже ты мой, Павел Иваныч! Андрей Павлыч! Садитесь. Очень мило с вашей стороны, что заехали. Чашечку чаю?

— Благодарю вас! — ласково наклонил голову Андромахский. — Не откажусь.

— А мы с мужем думали, что встретим вас вчера...

— Где? — спросил Андромахский.

— Как же! В Соляном Городке! Грудастов читал о Пшебышевском.

На лице Андромахского изобразилось неподдельное отчаяние.

— Так это было вчера?! Экая жалость! Я мельком видел в газетах, и представьте, думал, что она будет еще не скоро. Я теперь газеты, вообще, мельком просматриваю.

— В газетах теперь нет ничего интересного, — сказал из-за угла чей-то голос.

— Репрессии, — вздохнула хозяйка. — Обо всем запрещают писать. Чашечку чаю?

— Не откажусь, — поклонился Ляписов.

— Мы выписали две газеты и жалеем. Можно бы одну выписать.

— Ну, иногда в газетах можно натолкнуться на что-нибудь интересное... Читали на днях, как одна дама гипнотизмом выманила у домовладельца тридцать тысяч?..

— Хорошенькая? — игриво спросил Андромахский.

Хозяйка кокетливо махнула на него салфеточкой:

— Ох, эти мужчины! Им бы все только — хорошенькая! Ужасно вы испорченный народ.

— Ну, нет, — сказал Ляписов. — Вейнингер держится обратного мнения... У него ужасное мнение о женщинах...

— Есть разные женщины и разные мужчины, — слышался из полутемного угла тот же голос, который говорил, что в газетах нет ничего интересного. — Есть хорошие женщины и хорошие мужчины. И плохие есть там и там.

— У меня был один знакомый, — сказала полная дама. — Он был кассиром. Служил себе, служил, и — представьте — ничего. А потом познакомился с какой-то кокоткой, растратил казенные деньги и бежал в Англию. Вот вам и мужчины ваши!

— А я против женского равноправия! — сказал господин с густыми бровями. — Что это такое? Женщина должна быть матерью! Ее сфера — кухня!

— Извините-с! — возразила хозяйка. — Женщина такой же человек, как и мужчина! А ей ничего не позволяют делать!

— Как не позволяют? Все позволяют! Вот одна на днях в театре танцевала с голыми ногами. Очень было мило. Сфера женщины — все изящное, женственное.

— А по-моему, она вовсе не изящна. Что это такое — ноги толстые и сама скачет, как козел!

— А мне нравится! — сказал маленький лысый человек. — Это танцы будущего, и они открывают новую эру в искусстве.

— Чашечку чаю! — предложила хозяйка Андромахскому. — Может быть, желаете рюмочку коньяку туда?

— Мерси. Я вообще не пью. Спиртные напитки вредны.

Голос из угла сказал:

— Если спиртные напитки употреблять в большом количестве, то они, конечно, вредны. А если иногда выпить рюмочку — это не может быть вредным.

— Ничем не надо злоупотреблять, — сказала толстая дама.

— Безусловно. Все должно быть в меру, — уверенно ответил Ляписов.

Андромахский встал, вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

— Однако я должен спешить. Позвольте, Марья Игнатьевна, откланяться.

На лице хозяйки выразился ужас.

— Уже?! Посидели бы еще...

— Право, не могу.

— Ну, одну минутку!

— С наслаждением бы, но...

— Какой вы, право, нехороший... До свиданья. Не забывайте! Очень будем рады с мужем видеть вас.

Ласковая, немного извиняющаяся улыбка бродила на лице Андромахского до тех пор, пока он не вышел в переднюю. Когда нога его перешагнула порог — лицо приняло выражение холодной злости, скуки и бешенства.

Он оделся и вышел.

Захлопнув за собой дверь, Андромахский остановился на полутемной площадке лестницы и прислушался. До него явственно донеслись голоса: его приятеля Ляписова, толстой дамы и m-me Пылинкиной.

— Что за черт?

Он огляделся. Над его головой тускло светило узенькое верхнее окно, выходящее, очевидно, из пылинкинской гостиной. Слышно было всякое слово — так отчетливо, что Андромахский, уловив свою фамилию, прислонился к перилам и застыл...

— Куда это он так вскочил? — спросил голос толстой дамы.

— К жене, — отвечал голос Ляписова.

M-me Пылинкина засмеялась:

— К жене! С какой стороны?!

— Что вы! — удивилась толстая дама. — Разве он такой?..

— Он?! — сказал господин с густыми бровями. — Я его считал бы добродетельнейшим человеком, если бы он изменял только жене с любовницей. Но он изменяет любовнице с горничной, горничной — с белошвейкой, шьющей у жены, и так далее. Разве вы не знаете?

— В его защиту я должен сказать, что у него есть одна неизменная привязанность, — сказал лысый старичок.

— К кому?

— Не к кому, а к чему... К пиву! Он выпивает в день около двадцати бутылок!

Все рассмеялись.

— Куда же вы? — слышался голос хозяйки.

— Я и так уже засиделся, — отвечал голос Ляписова. — Нужно спешить.

— Посидите еще! Ну, одну минуточку! Недобрый, недобрый! До свиданья. Не забывайте нашего шалаша.

Когда Ляписов вышел, захлопнув дверь, на площадку, он увидел прислонившегося к перилам Андромахского и еле сдержал восклицание удивления.

— Тс-с!.. — прошептал Андромахский, указывая на окно. — Слушайте! Это очень любопытно...

— Какой симпатичный этот Ляписов, — сказала хозяйка. — Не правда ли?

— Очень милый, — отвечал господин с густыми бровями. — Только вид у него сегодня был очень расстроенный.

— Неприятности! — слышался сочувственный голос толстой дамы.

— Семейные?

— Нет, по службе. Все игра проклятая!

— А что, разве?..

— Да, про него стали ходить тревожные слухи. Получает в месяц двести рублей, а проигрывает в клубе в вечер по тысяче. Вы заметили, как он изменился в лице, когда я ввернула о кассире, растратившем деньги и бежавшем в Англию?

— Проклятая баба, — прошептал изумленный Ляписов. — Что она такое говорит!

— Хорошее оконце! — улыбнулся Андромахский.

— ...Куда же вы? Посидели бы еще!

— Не могу-с! Время уже позднее, — слышался голос лысого господина. — А ложусь-то я, знаете, рано.

— Какая жалость, право!

* * *

На площадку лестницы вышел лысый господин, закутанный в шубу, и испуганно отшатнулся при виде Ляписова и Андромахского.

Андромахский сделал ему знак, указал на окно и в двух словах объяснил преимущество занятой ими позиции.

— Сейчас о вас будет. Слушайте!

— Я никогда не встречала у вас этого господина, — донесся голос толстой дамы. — Кто это такой?

— Это удивительная история, — отвечала хозяйка. — Я удивляюсь, вообще... Представили его мне в театре, а я и не знаю, кто и что он такое. Познакомил нас Дерябин. Я говорю Дерябину между разговором: «Отчего вы не были у нас в прошлый четверг?» А этот лысый и говорит мне: «А у вас четверги? Спасибо, буду». Никто его и не звал, я даже и не намекала. Поразительно некоторые люди толстокожи и назойливы! Пришлось с приятной улыбкой сказать: пожалуйста! Буду рада.

— Ах ты дрянь этакая, — прошептал огорченно лысый старичок. — Если бы знал — никогда бы к тебе не пришел. Вы ведь знаете, молодой человек, — обратился он к Андромахскому, — эта худая выдра в интимных отношениях с тем самым Дерябиным, который нас познакомил. Ей-Богу! Мне Дерябин сам и признался. Чистая уморушка!

— А вы зачем соврали там, в гостиной, что я выпиваю двадцать бутылок пива в день? — сурово спросил старичка Андромахский.

— А вы мне очень понравились, молодой человек, — виновато улыбнулся старичок. — Когда зашел о вас разговор — я и думаю: дай сверну словечко!

— Пожалуйста, никогда не ввертывайте обо мне словечка. О чем они там сейчас говорят?

— Опять обо мне, — сказал Ляписов. — Толстая дама выражает опасение, что я не сегодня-завтра сбегу с казенными деньгами.

— Проклятая лягушка! — проворчал Андромахский. — Если бы вы ее самое знали! Устраивает благотворительные вечера и ворует все

деньги. Одну дочку свою буквально продала сибирскому золотопромышленнику!

— Ха-ха! — злобно засмеялся старичок. — А вы заметили этого кретиновидного супруга хозяйки, сидевшего в углу?..

— Как же! — усмехнулся Андромахский. — Он сказал ряд очень циничных афоризмов: что в газетах нет ничего интересного, что женщины и мужчины бывают плохие и хорошие и что если пить напитков много, то это скверно, а мало — ничего...

Старичок, Ляписов и Андромахский уселись для удобства на верхней ступеньке площадки, и Андромахский продолжал:

— И он так глуп, что не замечал, как старуха Пылинкина подмигивала несколько раз этому густобровому молодцу. Очевидно, дело с новеньким ляמידелямезончиком на мази!

— Хе-хе! — тихонько засмеялся Ляписов. — А вы знаете, старче, как Андромахский сегодня скаламбурил насчет этой Мессалины: она не меняет любовников как перчатки только потому, что не меняет перчаток.

Лысый старичок усмехнулся:

— Заметили, чай у них мышами пахнет! Хоть бы людей постыдились...

* * *

Когда госпожа Пылинкина, провожая толстую даму, услышала на площадке голоса и выглянула из передней, она с изумлением увидела рассевающуюся на ступеньках лестницы компанию...

— Я уверен, — говорил увлеченный разговором Ляписов, — что эта дура Пылинкина не только не читала Ведекинда, но, вероятно, путает его с редерером, который она распивает по отдельным кабинетам с любовниками.

— Ну да! — возражал Андромахский. — Станут любовники поить ее редерером. Бутылка клюквенного квасу, бутерброд с чайной колбасой — и m-me Пылинкина, соблазненная этой царской роскошью, готова на все!..

Госпожа Пылинкина кашлянула, сделала вид, что вышла только сейчас, и с деланным удивлением сказала:

— А вы, господа, еще здесь! Заговорились? Не забудьте же — в будущий четверг!

Мозаика

— Я несчастный человек — вот что!

— Что за вздор?! Никогда я этому не поверю.

— Уверю тебя.

— Ты можешь уверять меня целую неделю, и все-таки я скажу, что ты несешь самый отчаянный вздор. Чего тебе недостает? Ты имеешь ровный, мягкий характер, деньги, кучу друзей и, главное, — пользуешься вниманием и успехом у женщин.

Вглядываясь печальными глазами в неосвещенный угол комнаты, Кораблев тихо сказал:

— Я пользуюсь успехом у женщин...

Посмотрел на меня исподлобья и смущенно сказал:

— Знаешь ли ты, что у меня шесть возлюбленных?!

— Ты хочешь сказать — было шесть возлюбленных? В разное время? Я, признаться, думал, что больше.

— Нет, не в разное время, — вскричал с неожиданным одушевлением в голосе Кораблев, — не в разное время!! Они сейчас у меня есть! Все!

Я в изумлении всплеснул руками:

— Кораблев! Зачем же тебе столько?

Он опустил голову.

— Оказывается, — меньше никак нельзя. Да... Ах, если бы ты знал, что это за беспокойная, хлопотливая штука... Нужно держать в памяти целый ряд фактов, уйму имен, запоминать всякие пустяки, случайно оброненные слова, изворачиваться и каждый день, с самого утра, лежа в постели, придумывать целый воз тонкой, хитроумной лжи на текущий день.

— Кораблев! Для чего же... шесть?

Он положил руку на грудь.

— Должен тебе сказать, что я вовсе не испорченный человек. Если бы я нашел женщину по своему вкусу, которая наполнила бы все мое сердце, — я женился бы завтра. Но со мной происходит странная вещь: свой идеал женщины я нашел не в одном человеке, а в шести. Это, знаешь, вроде мозаики.

— Мо-за-ики?

Рекомендована література



[Шокова терапія](#)

Перейти до категорії
Художня література

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ